

## Хранитель совести

*Вл. Глинка. Хранитель: Статьи. Письма. Проза. СПб: Арс, 2003.**Вл. Глинка. Воспоминания. Архивы. Письма. Кн. 2. СПб: Издательство Государственного Эрмитажа, 2006.*

Чем, в частности, замечательны эти книги (вкуче с множеством других достоинств): они напрочь отбивают массовое и, в сущности, мелкое, суетное желание, овладевшее нынче не самой мудрой частью «образованцев», — «отметиться», «примазаться», намекнуть на «аристократизм», некую барственность своего происхождения, на то, что «мы» — это заведомо не «они»... Посмотрите, кстати, как резвенько-шустренько бросился народ наш разыскивать свои корни и истоки. Дело это, безусловно, доброе, кто спорит, но, увы, — не в нынешних российских обстоятельствах. Тут, у нас, вся штука в том, что движет этим усердием отнюдь не достохвальная потребность разузнать все про дедушек-бабушек. Народ наш вовсе не так прост. И движет этим энтузиазмом чаще всего подспудная, но страстная, испепеляющая мечта отыскать в своем роду хоть захудалого, но дворянчика. Такого, знаете, ма-ленького-маленького, но настоящего. Не какую-нибудь черную кость — кому она, в самом деле, нужна. Или купчика какого-нибудь, на худой конец. Повальность этого явления в среде самой разнообразной, хоть околоинтеллигентской, хоть гламурной, провоцирует закономерный вопрос: а где, позвольте спросить, они (в смысле — их высокородные предки) крепостных-то брали, ежели, куда ни кинь, всюду потомки бар да высокородного купечества? Кто, извините, землю пахал и кормил эту армию господ и господствующих? Кто ее вынянчил и выучил?

Ну да ладно. Не стоят эти благоглупости того, чтобы всерьез их оспаривать. Да и предмета тут для спора нет. Ни спор тут потребен, а диагноз. Осознание того, что наше столь бурно, до одури веселящееся общество, с восторгом бесшабашных неандертальцев выкрикивающее: «Все у нас получится!», «все перемелется, родная!» — на самом деле погрязло в откровеннейшем, наипошлейшем мещанстве, вязком, как глина. Что в омерзительном, смрадном маскараде, в который обратилась наша Раша, кружатся лица и маски самые разные, но равно омерзительные и равно отмеченные печатью вырождения. Дух мнимостей, дух самодовольства объял нынешнюю Россию. И неважно, псевдодворянами ли наряжены эти карнавальные лица-маски, псевдокупцами ли, псевдоучеными, псевдополитиками, псевдоаристократами... Все — вымороченное, все — зыбкое, все поддельное, подловатое, жуткое.

А тут, в этих книгах, перед нами — сама подлинность. Подлинность поразительно глубокого и точного ума, совести, интеллигентности, чести, — тех человеческих качеств, для которых в России ныне уже явно требуется своя «красная книга». Этот великолепно изданный и богато иллюстрированный двухтомник, составленный петербургским писателем Михаилом Глинкой и посвященный памяти его дяди, одного из самых знаменитых «эрмитажников», историка и писателя Владислава Михайловича Глинки, скончавшегося в 1983 году, можно сказать легенды великого музея — конечно, в первую очередь наиболее полный свод его статей, писем, прозы, мемуаров, а также того, что написано было о нем самом.

А помнили и помнят его многие. Работа по собиранию и комментированию этих материалов проделана была, вне всякого сомнения, колоссальная. Ограничиться одной только благодарностью М. Глинке, не пожалевшего для нее ни сил, ни времени, ни энтузиазма, разумеется, недостаточно. Стоит только вспомнить, что ценнейшие мемуары Владислава Михайловича о блокаде остались в рукописи, перечитать и

«Приносят ему, например, — вспоминал о Вл. Глинке Натан Эйдельман, — предполагаемый портрет молодого декабриста-гвардейца. Глинка с нежностью глянет на юношу прадедовских времен и вздохнет:

— Да, как приятно, декабрист-гвардеец; правда, шитья на воротнике нет, значит, не гвардеец, но ничего... Какой славный улан (уж не тот ли, кто обвенчался с Ольгой Лариной, — „улан умел ее пленить”); хороший мальчик, уланский корнет, одна звездочка на эполете — звездочка, правда, была введена только в 1827 году, то есть через два года после восстания декабристов, — значит, этот молодец не был офицером в момент восстания. Конечно, бывало, что кое-кто из осужденных возвращал себе солдатскою службою на Кавказе офицерские чины — но эдак годам к тридцати пяти-сорока, а ваш мальчик лет двадцати... да и прическа лермонтовская, такого зачеса в 1820—30-х еще не носили... Ах, жаль, пуговицы на портрете неразборчивы, а то бы мы определили и полк и год.

Так что не получается декабрист никак — а вообще славный мальчик...»

Когда А. И. Солженицыну в работе над «Августом 1914-го» потребовалась консультация специалиста-историка, он обратился именно к Владиславу Глинке, которому тайно и прислал рукопись (дело было в 1974 году, накануне высылки писателя из СССР). Да и где, скажите, и как было отыскать более авторитетного знатока! Обширное письмо Вл. Глинки Солженицыну по поводу романа не может не поражать скрупулезнейшей требовательностью действительно блистательного историка к точности буквально во всем, начиная от норм тогдашнего поведения представителей самых разных общественных кругов, хоть царских, хоть крестьянских, до каких-нибудь мельчайших деталей одежды. Тут и точность в определении численности полковых офицеров, и знание того, где именно — на плечах или через плечо — носили тогда палантины. Страница за страницей, строка за строкой ученый вчитывается, всматривается, вдумывается в текст — и обращает внимание писателя, что, например, в 1914-м не существовал еще термин «передний край»: он появился позже, при позиционной войне. Что «на слова штаб-офицера урядник не посмеет пожать плечами, это дерзость. А офицер не скажет ему „вы”, так же как не скажет „ваших земляков работа”, а скорее „твоих станичников работа”». Револьвер с шашкой в эпоху Первой мировой, отмечает В. Глинка, тогда не пристегивались, а надевались «вместе с ремнями походного снаряжения». И почему, далее проходится Глинка с карандашом в руках по тексту, один из героев книги входит в комнату к сестре в кепке? «Даже безбожник, он с молоком матери всосал необходимость, входя в дом, снимать головной убор».

И никакой «золотой шпаги» тогда в поход не брали, пишет он, да и не было ее у Самсонова, героя романа. У него могло быть, уточняет Глинка, только «так называемое „золотое”, или „георгиевское оружие”, то есть шашка с золоченым эфесом и эмалевым Георгиевским крестиком, на верхней его части. Значение этого знака отличия отнюдь не следует переоценивать. За одну Японскую войну им было награждено более 600 человек».

Подобных консультаций Владислав Михайлович за долгую свою жизнь раздал не одну тысячу. Его щедрость тут не имела границ. Но малейших исторических неточностей, небрежностей он не терпел. М. Глинка вспоминает, как, прочитав довольно популярный тогда исторический роман (написанный, правда, вовсе не историком, а поэтом, и очень хорошим), Владислав Михайлович буквально выскочил из комнаты, держа в руках развернутый том. Оказывается, в нем было написано, как ямщик на постоялом дворе сидит на кухне, «рассупонившись и развязав кушак»! Боже, какой гневной тирадой разразился историк! Ямщицкий кушак — это вовсе не ремень, тесьма или веревка, как думалось слабо подкованному в исторических реалиях поэту и

В письме к С. Гейченко от 8 апреля 1974 года Владислав Михайлович писал: «Уже несколько лет, с тех пор как ты вошел в славу, стали доходить до меня упорные слухи, что ты занесся, т. е. перестал узнавать многих старых знакомцев по музейной части, держишься на людях высокомерно, на манер „наместника Пушкина на земле”, как выразился некий остроумец. Рассказы эти, шедшие от весьма различных людей, очень меня опечалили... Не один человек и не два, а по крайней мере с десятков из тех, кто близко наблюдал твою жизнь в послевоенные годы (и я в том числе), очень огорчились, не найдя в „Лукоморье” упоминания о Матвее Матвеевиче Колоушине, а ведь все мы знаем, что Матвей в те годы и для Заповедника, и для тебя лично сделал очень много доброго. Как же это вышло? Уж кого только ты не упомянул в книге по имени, отчеству и фамилии. И лесоводов, и металлургов, и археологов, и архитекторов. И хороших, дельных людей, и иных вроде Лактионова или Бельчикова. Только Колоушина ни разу не вспомнил».

А ведь С. Гейченко, перед войной уволенный из петергофского музея, арестованный в 41-м за знакомство с некоей дамой, носившей нерусскую фамилию, и вернувшийся в Ленинград в 45-м без руки, худым и бездомным, спасен был именно М. Колоушиным. Эта очевидная неблагодарность известного музейщика побудила Владислава Михайловича незадолго до смерти сделать в своей рабочей тетради запись о С. Гейченко. В ней, в частности, говорилось: «Черная душа и чрезмерная самовлюбленность — плохие помощники в творчестве, как и на любой стезе жизни. Семена Степановича вознесли до небес, и никто не замечает, что книги его фальшивые во всем, где фигурирует и особенно говорит живой Пушкин, не всегда и точны; что дом в Петровском нельзя было строить — ведь каким он был при Ганнибалах, неизвестно; что лестница в воду из Михайловского дома никогда не стояла, где стоит; что „златая цепь” — нелепа, безвкусна и т. п. Семен Степанович не выдержал испытания известностью, потерял меру вкуса и собственного достоинства, возомнил себя действительно „наместником Пушкина на земле”. И как же это нелепо».

Когда не в меру ретивый и сильно идеологизированный врач В. Софронов в 1963 году в «Неве» выскочил с сенсационной статьей о Дантесе «Поединок или убийство?», Вл. Глинка вместе с Л. Л. Раковым и Я. Давидовичем дал ему достойную отповедь. Нет, он защищал не Дантеса, авантюриста, бездельника на службе и пустого светского хлыща. Он защищал честь и достоинство правды, в какие бы сложные и запутанные обстоятельства ей не приходилось попадать. В. Софронов в статье самонадеянно утверждал, что Дантес вышел к барьеру, будучи облачен в кольчугу, потому что «собственная жизнь для таких людей была дороже их дворянской чести». Безусловно, говорится в письме ученых, направленном в Пушкинскую комиссию АН СССР и в редакцию «Невы», безнравственный человек способен на многие грязные дела. «Но чего Дантес не мог сделать — надеть кольчугу, отправляясь на дуэль: даже в случае легкого ранения в шею или в плечо это привело бы к такому позорному разоблачению, которое люди „высшего круга”, способные не заметить и забыть любую подлость из отмеченных выше, никогда бы не простили. Это был бы скандал, после которого ни в России, ни в каком-либо другом месте Европы Дантеса не пустили бы ни в один дом..., ни один из бывших его знакомых не узнал бы его на улице, не подал бы ему руки».

От зоркого глаза Владислава Михайловича не укрылось и определенное двуличие в поведении академика, знаменитого ученого И. А. Орбели, в военные годы директора Эрмитажа, а позже — одного из свидетелей на Нюрнбергском процессе. Конечно, Глинка отдавал должное лучшим его человеческим качествам. В частности, припоминая трудное время эвакуации эрмитажных сокровищ, Глинка отмечал его прекрасные деловые качества. Да и в блокадные времена Иосиф Абгарович вел себя вполне достойно. Но он же, «официальный мастер картинного гнева», выступая в

Так вот — разговаривая осенью 1942 года с известным врачом, членом-корреспондентом Академии медицинских наук Николаем Николаевичем Петровым, Вл. Глинка услышал от него потрясшие его сведения об умерших в городе менее чем за год — с ноября 1941-го по декабрь 1942-го. Эти цифры, рассказал Н. Петров, только что были озвучены в Горздраве. «Миллион девятьсот тысяч! — воскликнул тогда Петров. — Это же государство целое вымерло!.. Ведь это примерно столько мы потеряли за всю войну с 1914 по 1917 год! Но на фронте! На фронте! И за это Николай слетел...»

Насколько мне ведомо, по сей день в официальных сводках звучит цифра иная — 600—700 тысяч, самые храбрые не боятся произнести — около миллиона. Ну, да ведь врать нам не привыкать: на том стоим.

Вл. Глинка, всю блокаду проводивший в городе, на себе испытывавший чудовищный голод и не менее страшный холод, бесконечные бомбежки и обстрелы, утверждал в записках — читанное им о блокаде, за редчайшими исключениями, *преступно лживо* (выделено мною. — Е. Ш.), если автор пытается отразить будни среднего ленинградца, чудом не умершего от голода. В этих фальшивых воспоминаниях и не менее лживых псевдохудожественных книгах, говорится далее, «намеренно умалчивалось о таких общеизвестных явлениях, как грабеж управхозами имущества умерших и спекуляции их продовольственными карточками, о черном рынке, где за продовольствие отдавали все — от одежды и обуви до бриллиантов и регалий, умалчивалось даже о судьбах таких многочисленных категорий населения, обязательно виденных всяким жившим тогда в Ленинграде, как сотни тысяч бездетных одиночек — холостяков, незамужних или вдовых, существовавших до войны на скромную зарплату, а также стариков и старух, родителей солдат и офицеров, бывших на фронте или уже там погибших, об их женах и детях, если они не эвакуировались и не были особенно „пробивными“».

Все эти группы обречены были на неизбежную и очень скорую смерть. То были, в основной своей массе, недобитые репрессиями ленинградские интеллигенты, — художники, скульпторы, артисты, музыкальные работники, самые, пишет Глинка, беспомощные в быту люди, абсолютно лишенные инстинкта добытчиков и нахрапистости любого рода. Они умирали тихо и безропотно, как святые. Владислав Михайлович вспоминал, как его знакомый фалерист-искусствовед, скрипач, ученик Иннокентия Анненского, предчувствуя скорую смерть (дело было еще в ноябре 1941 года), попросил его принести из дома старую скрипку. «Она насквозь промерзла, Владимир Александрович. Подождите. Дайте ей согреться, — сказал я хозяину, передавая скрипку в его руки. — Ничего. Мне хочется ее скорее отогреть, — тихо сказал он».

Каково после таких строк, щемящих и обжигающих, бесконечно трагических — что в сравнении с ними даже софокловские трагедии! — читать в этих же воспоминаниях о жизни партийной верхушки — жизни совсем не голодной, а можно даже сказать, сытой. И теплой. В январе 1944-го группе англо-американских журналистов (с ними был и Глинка) устроили встречу с председателем Ленсовета П. С. Попковым (позже расстрелянном по «ленинградскому делу»). Это был тот самый деятель, который, свидетельствовала Наталья Васильевна Крандиевская-Толстая, его соседка, в самые страшные блокадные месяцы ежедневно приносил домой для своего кота двести грамм свежего фарша.

Так вот: когда на той встрече разговор зашел о погибших, коих, по сведениям, выданным нашей традиционно лживой пропагандой иностранцам, в Ленинграде было около пятисот тысяч, этот самый Попков «с кривой ухмылкой, не задумываясь, ответил: — Эта цифра во много раз завышена и является сплошной газетной уткой...»

возвращаться к вопросу, пытаюсь понять, что же именно они ненавидели в этих книгах?»

Скорее всего, думается мне сегодня (по словам Тургенева — «при виде всего, что совершается дома»), Владиславу Михайловичу открылось тут самое дно человеческой (нечеловеческой) души. Он, что называется, ухватил в тот момент дьявола за хвост. Какие тут, в общении с дьяволом, точнее с одной из его ипостасей, могут действовать логические доводы, отыскиваться причины-следствия, и пр. и пр. Это — дьявол, это его след, его повадки, его ухищрения, его ухмылка. На дьявола управы нет. И попробуй ты загони его, выпущенного из бутылки, обратно.

А рядом со всеми этими преступлениями, за которые никто так и не был наказан, в которых никто не раскаялся, о которых, в общем угаре сегодняшнего национального самовозвеличивания, вообще не принято говорить, — рядом с ними существовали и бескорыстие, и сострадание, и помощь. Как забыть воистину сказочный дар посторонних, в сущности, людей — двух моряков, — при виде умирающей от голода девятилетней девочки, дочери Владислава Михайловича, отдавших им буханку хлеба, мясные консервы, сахар?... Долгое время, уже после войны, историк тщетно разыскивал следы одного из них, чью фамилию, скорее всего неточную, знал.

«Это ведь был, — добавляет в мемуарах дяди М. Глинка, — тот самый тип человека, которого В. М. все время искал и в реальной жизни, и среди архивных бумаг».

Помните?... *«Надо быть хорошим человеком».*

Он его всегда искал, этого по-настоящему хорошего и достойного человека. В какие бы времена он не жил, из какого круга не происходил. Он бесконечно любил свою няню, простую крестьянскую женщину, с ее верой в высшее начало добра и справедливости, вековым крестьянским поклонением любому труду. Он безмерно уважал финнов, которые в военное время не хотели переходить своей старой границы и не сделали шагу на чужой территории. Своему усыновленному племяннику, сыну брата Сергея, убитого на войне, он завещал ничего не заводить на бывших чужих землях (а таковым является, в сущности, весь Карельский перешеек).

И Камчаткой, добавлял он, нам не удастся долго управлять по телефону из Москвы, «страна слабеет», говорил он. «Свое бы удержать. А чужое начнет отваливаться».

«Когда-нибудь мы потеряем Крым», — сказал он своему взрослому племяннику. И добавил, что это будет плата за нашу политику. «За то, что мы не видим в человеке гражданина. И за то, что сделали с татарами».

В конечном счете, — чего стоила бы наша жизнь, наша история, все наши деяния, если бы не было в ней людей такого масштаба и такой чистоты?